

НОЧЬЮ

Густеет ночь у Девичьего вира –
В округе полусонной
Ни огня.
Загадочнее сотворенья мира
Грядущее возникновенье дня.

В крошечной тьме неясно отразятся
Неровный шаг
И сбивчивая речь...
Подумаешь:
Откуда свету взяться?
Да и кому дано его зажечь?

И призрачным покажется вращенье
Вокруг светила тверди и воды.
И долго душу мучит ощущение
Какой-то неминуемой беды.

Льнёт паутина к седеющим мхам.
Свет убывает.
Время рождаться грибам и стихам.
Так и бывает.

Снова сгорают в багряном огне
Тихие рощи.
Время подумать о завтрашнем дне
Строже и проще.

Что там в логоу, на ветру трепеща,
Шепчет осина?
Время прощать,
Даже то, что прощать
Невыносимо.

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО

Москва

ТАЙНЫЙ «ГАМБРИНУС»
рассказ

В начале 90-х годов фильм по моему сценарию «Шамара» снимали в городе Николаеве. Причём снимали в два приёма: не управившись за одно лето, доснимали в следующее. В первое лето обошлись без меня. А вот во второе – не смогли. У режиссёра не получался финал фильма.



Дело в том, что уже в период написания режиссерского сценария, а потом и во время съёмок, сюжет настолько видоизменился и, дрейфуя, ушёл в свободное плавание, что опять понадобился сценарист, дабы собрать все сюжетные линии в пучок, вытянуть кинокорабль, терпящий бедствие, из бурных волн океана и довести его до какого-нибудь причала.

Мне позвонили со студии и срочно вызвали на съёмки фильма.

Это был мой первый большой фильм («полный метр», как говорят кинематографисты), и я кинулась на помощь.

На станции меня с радостью встретила помреж фильма, и тут же потащила на съёмки.

По съёмочной площадке ходило множество народа: художник фильма красил фанерные ящики в канареечный цвет, светотехники ставили свет, оператор, сидя на подъёмном кране и глядя в объектив, поднимался то вверх, то вниз, – всеми ими руководила кинорежиссёр, двадцатипятилетняя девушка небольшого роста, Наташа Андрейченко. Съёмочная площадка скорее напоминала судостроительную верфь, – ими, собственно, и славился город Николаев.

С Наташей мы обнялись, и она подвела меня к группе актёров, сидящих неподалёку от съёмочной площадки, на берегу реки. Они уже были готовы к съёмкам: в гриме и костюмах.

– Знакомься! – сказала она мне. – Это герои фильма: Лера, Рая, две Гали, Устин...

Пожимая руки актёров и глядя им в глаза, я пережила странное чувство. Чувство это было мистическим, не похожим ни на какое другое: ведь я пожимала руки своим героям, которых выдумала.

Которых создала почти из ничего, из праха пережитой жизни, вызвала из небытия. Может быть, с таким же чувством наш общий Создатель иногда дотрагивается своей дланью до нас, созданных им людей...

Самой последней подошла актриса, игравшая главную роль в фильме, – роль заводской заводной девахи Зинки – Шамары. Она, единственная из всех, не была похожа на мою героиню: слишком красива, стройна, как сейчас сказали бы – гламурна. Протянув руку, она назвала своё настоящее имя:

– Ира!

Я вежливо спросила её: «Где вы работаете, Ира?», и готова была услышать от неё что-то типа: в кино или театре.

– В заводе! – неожиданно сказала она.

Произнесла она это низким, сильным, каким-то необработанным голосом и дико, свирепо, совсем, как моя героиня, сверкнула на меня глазами.

В тот момент я чуть было не потеряла сознание, словно реальность – нет, сама земля – расступилась подо мной, и я рухнула вниз в какой-то провал, оказавшись в ту же секунду в реальности иной, существующей одновременно с этой.

В последующие дни я, чтобы потихоньку не сойти с ума, обходила актёров стороной, отныне считая актерскую профессию демонической, уносящей нас в иные миры и для души небезопасной.

Также вскоре обнаружилось, что я до тошноты ненавижу и святое святых кинематографа, его, кинематографа, основу основ, то есть – кинотехнику: все эти осветительные приборы, бьющие вам прямо в глаза, как на допросах, электрошнуры и кабели, чёрными змеями словно бы нарочно пересекающие вам путь к съёмочной площадке, если вы туда решитесь всё же пробраться, дымовые пашки, создающие туман, но с запахом серы, краны, тележки, всё эти камеры, «Бетакамы», линзовые насадки, видеоискатели, визиры, флешметры, фильтры, штативы, систенды и прочее, прочее, включая хлопушку и возглас «Мотор!»...

Мне, чтобы воплотить свой замысел, требовались лишь перо и бумага.

В кино между замыслом и его воплощением втиснулись все достижения технической мысли и технического прогресса человечества. Казалось, что режиссёру, сдавленному на съёмочной площадке со всех сторон этой громоздкой техникой, творить невозможно.

Но Наташа летала между железными конструкциями, как птица, то присаживалась в поднебесье на металлическую жёрдочку крана, поближе к оператору, и заглядывая в видеоискатель, выстраивала кадр, то стремглав бросалась к актёру, и, прижавшись к его груди, что-то тому внушала, и опять поднималась высоко в небо, вскрикивая в мегафон: «Приготовились!».

На съёмках у меня была одна отрада: любоваться, как трудится режиссёр, Наташа, как она, словно домовитая ласточка, строит фильм, будто лепит свой домик на склоне скалы, как она, летая, напевая и танцуя, творит. Я считала её гением.

Но вскоре я поняла, что написанная мною реалистическая история про заводскую жизнь становится всё больше и больше похожа на балет, чем на кино, и свести её к какому-то финалу будет совсем не просто. Времени дописать финал тоже не хватало.

День мы проводили на съёмках: этого требовали Наташа и законодательство, за которым следил директор фильма, выплачивающий нам зарплату за кино-трудодни.

Ночью я сидела в номере у Наташи, где она вместе с оператором рисовала кадр за кадром будущей – завтрашней – сцены. Вслед за оператором наступала моя очередь: до четырёх утра мы с Наташей обсуждали этот треклятый финал, который мне никак не давался. Обсуждение мы запивали ликёром польского производства. Ликёр был ядовито-зелёного цвета и ядовитого же, как укусы змеи, вкуса.

В восемь утра начинались съёмки.

Я ходила, уже качаясь от вечного недосыпа, и в перерывах на обороте листов сценария писала финальный монолог главной героини.

Ночью Наташа в очередной раз его отвергала.

Оставалась одна неделя съёмок, а финал так и не был мною написан. Вся группа смотрела на меня враждебно: так, наверное, единая дружная пчелиная семья смотрит на трутня.

В тот день между директором и оператором зашёл разговор о кране. Что он уже не понадобится, так как съёмки кончатся, и его надо бы отвезти обратно, где брали, – в Одессу на киностудию.

Замирая, я спросила, далеко ли Одесса.

– Рядом. Несколько часов на автобусе, – ответил директор и насторожился. – А тебе зачем?

– Просто, – соврала я.

Не знаю почему, наверное, от отчаяния, я вдруг решила уехать в Одессу. Вот так: всё бросить, сплунуть и уехать. Хотя бы на один день. Вырваться из этого ада. Из этого кино.

Честно говоря, я тайно надеялась, что, увидев легендарную Потёмкинскую лестницу, знаменитый одесский Привоз и, особенно, давнюю литературную достопримечательность Одессы – бессмертный кабачок «Гамбринус», я, насмотревшись на всё на это и, можно сказать, впитав, назло всей съёмочной группе обязательно напишу финал фильма.

Рано утром, никому ничего не сказав, я купила билет, села на автобус и уехала в Одессу.

Об Одессе было написано так много всего разного, что я вполне серьёзно считала её городом придуманным, как мы, сценаристы, придумываем сценарий, городом, которого, может быть, и не существует на свете. И поэтому ехала туда в роли сталкера и в предвкушении непредсказуемых чудес.

И непредсказуемое началось, как только я приехала и вышла из автобуса.

У выхода из автовокзала стояла бабуля и продавала варёные креветки в газетных кулёчках. Креветки тогда были большим деликатесом, и в Москве продавались только в элитных пивных барах. А тут: в кулёчках, как семечки!

Я купила волшебный кулёчек и, как драгоценность, осторожно уложила его в сумку. Наверное, я хотела отвезти кулёчек Наташе, чтобы и её приобщить к чуду.

Распросив бабулю о том, где находятся знаменитая Потёмкинская лестница, памятник Дюку и пивной кабачок «Гамбринус», я, расправив крылья, полетела легко и свободно, словно эта бабуля у входа автовокзала была не старой каргой, а феей, выпускавшей в сказочный город Одессу только тех, кто кушит у неё заветный кулёчек.

И только отошла я от неё, моей доброй бабули, как тут же хлынул дождь. Но и дождь был здесь необыкновенным. Он лил как из ведра, но был тёплым, будто я стояла в летнем дощатом душе, и на меня из бака лилась нагретая за день солнцем вода, – видимо, там, на небе, решили меня искупать и очистить, прежде чем впустить в город.

Мокрая, я бежала по улицам и разглядывала дома. От дождя краска на стенах проступила, дома стали яркими: красными, синими, жёлтыми, зелёными, – и словно бы живыми, участливо наблюдавшими за мной своими глазами-окнами. Улицы были совершенно пусты, все попрятались от дождя. Город принадлежал только мне.

Завернув за угол, я подняла голову, чтобы посмотреть, как называется улица.

– Дерибасовская, – прочла я и возликовала.

Я вошла в тихий дворик и разглядывала его, как старинную картину: деревянные терраски, болтающиеся на веревке разноцветное бельё, свисающие сверху мокрые гроздья чёрного винограда...

Я вошла в подъезд дома, и он меня поразил своей чистотой, обширностью и мраморными подоконниками, на которых можно было даже лечь, если что, и поспать.

Наконец я зашла в знаменитый кабачок «Гамбринус», где седой, сердитый старик в лапсердаке зло и



вдохновенно сыграв для меня одной – в такую-то рань – на скрипке, тут же потребовал с меня какую-то фантастическую сумму в долларах. Суммы у меня не было. Денег хватало только на кофе.

Но в кофе старик мне резко отказал и даже вызвал из недр кабачка некоего «Васю». «Вася», то ли официант, то ли вышибала, похожий на молодого непроспавшегося бычка, молча выслушав брань старика («на халяву музыку не кушают!»), вытащил меня из-за стола за шкуру и выставил из заведения. Романтичная легенда, за которой я, собственно говоря, и ехала в Одессу, скандально рушилась. Демократический кабачок, куда собирались моряки и босяки всей Одессы послушать скрипача Сашку, превратился в пошлое буржуазное заведение.

Униженная и оскорблённая в своих лучших чувствах под бешеный ритм фильма Эйзенштейна, засевший в голове, я сбегала по Потёмкинской лестнице сломя голову. Чтобы успокоиться и прийти в себя, я ещё раз взлетала – по 192-м ступенькам – вверх, и опять стремглав понеслась вниз. Как та, одинокая детская коляска из фильма...

Потом я побежала по набережной и, встретив там памятник Пушкину, заплакала, жалуясь ему, словно живому человеку. Я представила Пушкина, который бегал по этой набережной, молодой и чем-нибудь раздосадованный, как и я. Мне хотелось расцеловать памятник прямо в губы.

Потом я побывала на одесском Привозе, разглядывая лица торговков и слушая их речь. Рынок был залит в приличные бетонные одежды и мало похож на тот Привоз, о котором я читала в книгах. Речь же торговков была довольно уныла и не отличалась от речи, скажем, базарных торговков из родной мне Астрахани. Уже второй миф после Гамбринуса – миф об одесском Привозе был мною развенчан в течение одного дня.

Рядом с Привозом стояли хрупкие древние старушки интеллигентного вида и продавали такие же хрупкие и древние вещи: бокал тонкого стекла, дамскую шляпу с развевающимися над нею, словно белый парус, страусиным пером, костяной веер, гусиное перо с чернильницей. Чернильница и гусиное перо вполне могли принадлежать самому Пушкину. Стоило всё копейки. Я купила, конечно. И ещё зачем-то шляпу. И веер.

Шляпу я тут же нахлобучила себе на голову. Дождь продолжался, и она служила мне вместо зонта.

На Молдаванку я не пошла, это было далеко. И вообще уже никому не нужно. Запал мой пропал. Я ещё по инерции без всякого энтузиазма немного покружила вокруг огромного серого здания оперного театра и пошла к морю. Море было последним пунктом моего романтического путешествия. Море могло бы ещё спасти легенду.

Но к морю мне подойти не удалось, там что-то строилось, или грузилось, или разгружалось, подъёмные краны крутили своими жёлтыми жирафьими шеями, то наклоняя их вниз, то поднимая вверх.

Так и не найдя выхода к морю, я решила вернуться в город и начала подниматься по лестнице, но уже не по той, главной, а по другой.

Эта лестница предназначалась для простого народа: матросов, докеров и рабочих, вкальвающих в море и в порту, – без фонарей, с обшарпанными ступенями, а иногда вовсе без них, с выбоинами, ямами, с торчащей из разломанных плит арматурой, и шла параллельно той, парадной Потемкинской лестнице, по которой ходил, как правило, праздный народ.

Поднималась я уже в темноте, на ощупь, проваливаясь в колдобины, натываясь на какие-то штыри и проклиная эту чёртову Одессу с её чёртовой лестницей и чёртовым «Гамбринусом». Пройдя половину пути, я уже стала подумывать, не вернуться ли мне обратно, как вдруг рядом с лестницей я увидела освещённое помещение. Я устремилась туда.

Это была простая пивнушка, где пили пиво как раз те матросы, грузчики и рабочие, для кого была предназначена и эта тяжелая работа в порту, и эта раздолбанная лестница, и, наконец, этот – посреди дороги – шалман.

Я вошла в пивную и обомлела. Все стены её были зеркальными! Количество матросов и рабочих, находившихся в ней, зеркалами удваивалось. Думаю, что только в Одессе могли додуматься до такого, больше нигде!

Когда я вошла, то вся эта – шумная, краснорезая, матерящаяся рать, – тридцать три богатыря, вышедшие из морских пучин, – в тельняшках и бескозырках, бесконечно отражённая в зеркалах, обернулась на меня и изумлённо замолкла.

Видимо, кроме барменши, я была единственной женщиной, посетившей это заведение со дня его основания. Да ещё по бездорожью, в ночи.



Среди полного молчания я прошла к стойке.

За стойкой, как на капитанском мостике, в бескозырке, стояла красивая золотоволосая девушка. Глаза её были разного цвета: один глаз был, как у кошки, жёлтого цвета, а другой – зелёный.

Она улыбалась.

– Кружечку? – спросила она.

– Налейте, – сказала я.

Ласково глядя на меня, она нацедила мне кружку пива и, уже передавая её мне, вдруг увидела на ней шербинку.

– О, простите! – сказала она. – Даме из такой кружки пить нельзя!

Как фокусница, откуда-то, то ли снизу, то ли сбоку она достала один-единственный высокий – дамский – с узкой талией стакан (тогда это было просто шиком, таких стаканов не водилось даже в Москве) и, налив в него пиво, торжественно подала его мне, словно в нём был не хмельной напиток, а вересковый мёд.

– У прекрасной дамы всё должно быть шикарно! – сказала она и, заговорщески подмигнув мне своим зелёным глазом, рассмеялась русалочьим смехом.

И всё сразу же задвигалось, заговорило, заходило ходуном.

Мне освободили столик, вытерли до блеска, я поставила на него свой драгоценный стакан, потом, вспомнив про кулёк с креветками, вытащила его и предложила всем угощаться.

Матросы захохотали, словно я сказала что-то очень смешное, и мне принесли дюжину огромных отборных креветок. Я ела их, отхлебывая пиво, и улыбалась им, – всем сразу, и они улыбались мне тоже.

Улыбаясь, я вдруг увидела своё отражение на соседней зеркальной стене: в зеркале стояла промокшая насквозь курица с всклокоченными волосами, с лиловыми губами. Но, главное, эта курица была в шляпе! А над шляпой, как помятый парус, покачивалось страусиное перо!

– У прекрасной дамы всё должно быть шикарно! – сказала я своему отражению.

В этот момент раздалась музыка. Рядом с барменшей возник небольшого роста морячок в тельняшке с аккордеоном в руках и, растягивая меха, заиграл «Прощание славянки». Лица у всех просветлели. «Сашка! Давай нашу!» – крикнули ему, когда он закончил. И он заиграл «Шаланды полные кефали». Все запели. Хор из густых мужских голосов сотрясал стены. И как колокольчик рядом с колоколом бился звонкий голос жёлто-зелёноглазой барменши.

«Вот он, настоящий, тайный „Гамбринус“!» – подумала я потрясённо.

Из Одессы я возвращалась на поезде. Вагон был плацкартный с деревянными полками. Людей почему-то не было. Ночью я стала замерзать, и, стянув с верхней полки два матраса, укрылась ими.

Я была счастлива.

Утром я приехала в Николаев. Меня уже все искали. Я закрылась в гостиничном номере и за час написала финальную сцену. Как вы уже догадались, сцена эта была про моряка Сашку.

На другой день мы её уже снимали.

ГУСИ-ЛЕБЕДИ

Вчера ночью вышла в сад и услышала высоко над головой прощальный крик улетающих птиц. Задрала голову, но увидела только звёзды: птиц в чёрном небе не увидишь. Казалось, что это то ли звёзды гортанно кричат, то ли само неба от края до края: «Ге-ге!».

А сегодня утром вышла на улицу и увидела то там, то сям стоявших на тротуаре людей с поднятыми к небу лицами. С неба нёсся всё тот же прощальный крик. Только теперь можно было разглядеть высоко в небе птиц – то ли утки летели, то ли гуси.

Они летели не клиньями, а волнами: одна волна, вторая, третья... И так кричали, так плакали, прощаясь с Родиной, что сердце переворачивалось.

Мы, люди, стояли и тоже чуть не плакали.

**ВЛАДИМИР ФЁДОРОВ**

Москва

ПЕСНЯ ТРЁХ БЕЗДОМНЫХ ДОМОВЫХ

Ветра гиперборейские задули,
Их песне без привычки не подпеть.
И снег такой, что в нём завязли пули,
Что до меня пытались долететь.

Хранит мой дом ревущая отрада.
Или хоронит в снежной глубине?
Ушла в сугробы с головой ограда,
Часы навек застыли на стене.

Который день я в белом саркофаге
Не отличаю ночи ото дня.
Лишь строчки проступают на бумаге,
Когда её поддержишь у огня.

Зачем опять в озябший лес шагаю,
Куда смотрю с надеждой из-под рук,
Ведь чудеса давно собрались в стаю
И улетели с криками на юг.

Ведь волшебство давно легло в берлогу
И повернулось к прошлому спиной.
И даже тайна собралась в дорогу,
Не пожелав увидеться со мной.

И ближний мир лежит пустыней дачной,
Безлюдной и бездушной стороной.
И этот день, до пустоты прозрачный,
Как ледоставом, скован тишиной.

И лишь в чащобе, где таятся дымка
И где за воротник ползёт озноб,
Стучит тревожно дятел-невидимка,
Как будто гвозди забивает в гроб.

МАУГЛИ

А была такая стая дерзкая –
Не боялась ни огня, ни пуль.
И дрожала свора браконьерская,
И крестился егерский патруль.